

Валерий
ВЕРХОГЛЯДОВ
г. Петрозаводск

ВРЕМЯ ПРОСТЫХ ИСТИН

рассказ

— Але!

Голос в телефонной трубке был незнакомым.

— Здравствуйте, — сказал я.

— Что?

— Здравствуйте, говорю.

— Приветик.

Вот так, значит. Ну-ну. Что еще?

— Чего молчишь?

У мужчин с возрастом в голосе появляется некое дребезжание, а у женщин, наоборот, начинает чувствоваться металл. Моя теща скажет, как станину отольет. Неприятно в последнее время с ней общаться, — такое количество громоздких и, главное, ненужных мне станин стало утомлять. Голос пожилого незнакомца явно обладал магнетизмом. Он был домашний, уютный, располагал к себе. Словно трамвайчик в два вагона. Старенький такой — краска облупилась, дуги потерты. К примеру, номер второй или двадцать пятый. Катит себе по проспекту Просвещения и в ус не дует — службу свою знает. Или по Просвещения ходят другие номера? Давно там не был, забыл. Вообще в последние годы перестал куда-либо выезжать. Сажу сычом дома ...

— Чего молчишь, спрашиваю?

— А что я должен сказать?

— Ты — ничего. Это я тебе говорю — угомони Серегу. А то ведь покалечат парня. Или морду набьют — тоже неприятно.

— Да уж, приятного мало.

— Во! Понимаешь!

— Как не понять.

— Значит, вразумишь?

— Обязательно. А какого Серегу-то?

— Как какого? Племяша.

Я у матери единственный сын — ни сестер, ни братьев. Откуда же взяться племяннику?

— Может, — говорю, — вы номером ошиблись? Вы кому звоните?

— Зачем мне ошибаться? Мне ошибаться ни к чему. А звоню я по номеру семьдесят семь двенадцать пятнадцать.

— Неувязочка вышла. Это — семьдесят семь пятнадцать двенадцать.

— Точно?

— Точнее некуда.

— Ну, извиняйте, — и он повесил трубку.

Я уже давно привык к телефонным вторже-

ниям, раз в два-три дня обязательно ошибутся номером. Этот старичок еще ничего — поздоровался, извинился. А то поднимешь трубку и слышишь требовательное: «Мне Люду!» Или Галю, или Свету. Мой приятель от таких звонков шалееет. «Вышла», — говорит. «Куда?» — спрашивают на том конце провода. Святая простота — они моего приятеля не знают. «В уборную», — поясняет он и дает отбой. Перезванивают редко. Бывает, что не спрашивают ни Люду, ни Свету, а, услышав явно незнакомый голос, интересуются: «Откуда?» На этот вопрос, как в театре абсурда, нужно отвечать «оттуда», еще лучше — «куда?» и в дискуссии не вступать.

Мой таинственный незнакомец снова объявился вечером следующего дня.

Вначале поинтересовался:

— Семьдесят семь пятнадцать двенадцать?

Я подтвердил, что на этот раз номер набран правильно.

— Кузьмич на проводе. Чего звоню-то: улади я это дело, так что ты насчет Сереги не беспокойся.

— Слава богу! Прямо гора с плеч!

— Я так и подумал — волнуется человек. Вот и решил сообщить — все в порядке.

— Что он вытворил на этот раз?

— С одной стороны — ничего особенного, а с другой стороны — чего. Опять же мать в расходы ввел. Она-то, дура, сразу не разобралась, что зачем и что почем. Сколько раз ей говорил: ты, Аннушка, вначале вникни, а уж потом раскошеляйся. Куда там, разве послушает.

— Вы ей скажите, что так нельзя. Это даже некрасиво. Вообще ни в какие ворота, — подержал я разговор.

— Скажу-скажу. А Серега-то наш каков стервец! Ловко придумал!

— Это он может, — поддакнул я и стал потихоньку направлять разговор в нужное русло.

Слово за слово удалось выяснить, что Серега — это пятнадцатилетний внук моего собеседника. Как и многие подростки, Серега интересуется девочками, но не просто интересуется, что было бы естественно и объяснимо, а очень сильно. («Прям пунктик у него», — сказал Кузьмич.) Мать-разведенка Аннушка в сыне души

не чаёт и постоянно его балует. («Возможность имеет, потому как в сбербанке работает, — у них там кризиса нет».) Велотренажер, ноутбук, аудиосистема, видеоплеер — все это у Сереги есть. Примерно месяц назад Аннушка решила записать сына в спортивный клуб, футбольный например, чтобы он там лишний пар выпускал и спал спокойней. Но Серега бегать по полю с мячом категорически отказался и неожиданно для всех заинтересовался миром пернатых. Стал читать специальные книжки, просматривать справочники-определители. Даже двухтомник «Трудов» заповедника «Кивач» откуда-то принес и на вопрос матери, мол, зачем, объяснил: «Там директор по основной профессии орнитолог, Александр Васильевич Сухов его зовут». Аннушка чуть не прослезилась — наконец-то сынок за ум взялся.

Через некоторое время Серега подкатил к матери, не купит ли она ему фотоаппарат, и даже конкретную марку назвал — какой. «У него объектив может работать как сильный телевик. Хочу снимать птиц в живой природе».

Конечно, желаемое он вскоре получил.

Лето, июнь, наступили погожие дни, истосковавшийся за долгую зиму народ загораёт кто в Песках, кто на Лососинке. Но Серега хитер, он отправился в Сайнаволоку — там кабинок нет и переодеваются в кустиках. Посидел, понаблюдал, а вечером прорезал в этих кустиках что-то наподобие бойницы, да так ловко, что сверху, с высоты человеческого роста, она была почти незаметна.

На следующий день отправился на фотоохоту. Девчонки переодеваться, а Серега метров с двадцати, притаившись за деревом, их снимает. Лица, правда, в кадр не помещались, но они фотографа интересовали в последнюю очередь. Недели две это продолжалось.

Как-то заходит Аннушка к сыну в комнату, а он на экране ноутбука очередную съемку просматривает.

Аннушка ужаснулась и велела показать всю фотосессию.

Что делать? Серега показал.

— Ну и что здесь особенного? — спросила Аннушка. Она была обескуражена и обозлена. — Ведь они же все одинаковые.

Застыдившийся было Серега тотчас приободрился.

— Да ты что, мама, как раз они-то все разные!

Аннушка позвонила своему отцу, пожаловалась, тот решил позвонить старшему сыну, а попал ко мне.

— И что сделал ваш сын? — спросил я.

— Ничего особенного — отобрал у Сереги фотоаппарат.

— Зря, — сказал я. — Этим вы ничего не добьетесь. Станет ваш парень обычным ханжой — и все дела. Еще и замкнется, будет скрывать свою страсть. Вы лучше подключите его к Интернету, там обнаженной натуры — пруд пруди. Художники называют ее «ню», а фотографии «актами». Но объясните Сереге, что нужно не только картинки рассматривать, а еще читать статьи искусствоведов, их тоже немало — на обнаженной натуре изрядная часть искусства замешена. И для чего — тоже объясните, это чтобы стимул у него был. Когда Серега начнет более-менее разбираться в безумной демонстрации женских тел, когда хоть немного поймет этот мир и начнет рассказывать о нем девчонкам, они сами станут ему позировать. И за деревьями прятаться не нужно. Девчонки сами не прочь раздеться — был бы повод приличный.

— Разве что попробовать? — сказал в раздумье мой неизвестный собеседник, назвавшийся Кузьмичом.

— Обязательно надо попробовать! Как не попробовать? Хуже-то все равно не будет, — горячо поддержал я. — И звоните. Обязательно. Мало ли что.

Что скрывается за обобщающей формулировкой «мало ли что», Кузьмич, думаю, не понял, я и сам не знаю, зачем так сказал, но с той поры он стал мне изредка звонить. Всегда вечерами, всегда после программы телевизионных новостей. Вскоре я понял, что живет он один и время от времени у него возникает желание поболтать, поучить кого-нибудь уму-разуму. Я в качестве собеседника ему вполне подходил. Случалось, он пропадал и полтора, а то и два месяца держал паузу. Уже начинаешь беспокоиться, — не заболел ли, не умер ли — все-таки возраст, может, в газете некролог был, а я на него не обратил внимания, потому

что фамилии своего старичка не знаю, а он упорно не хочет ее называть, уже измается от неизвестности — а тут звонок и знакомое дребезжащее «але».

— Але-але, — передразниваю я, но получается хоть и не грубо, но все-таки топорно.

Голос может вызвать симпатию, может и антипатию, потому что интонация всегда будит воображение. Не потому ли так магически действует на женщин сексуальная хрипотца Тото Кутуньо? А ровная, правильная, настолько правильная, что почти мертвая речь Егора Гайдара, которую украшало разве что детское причмокивание, вызывала у многих стойкое неприятие его как премьера.

Старческое дребезжание Кузьмича мне нравилось. В нем было что-то щемящее, вроде как беззащитное, но в то же время лукавое.

Еще нравилась его природная сметливость: чуть ли не на каждый довод у Кузьмича находился пример из личной жизни.

Но более всего меня умиляло стремление Кузьмича украшать речь некими культурными излишествами, почерпнутыми из словаря иностранных слов, причем далеко не всегда эти слова употреблялись в истинном значении, случалось, Кузьмич толковал их по-своему. Он мог, например, сказать «сакральная женщина», что следовало понимать как роковая, или «а наш депутат в Думе изображает инженеру и плюет на пожелания избирателей».

Я как-то спросил Кузьмича, откуда он набрался этих премудростей, и он простодушно объяснил:

— Дело давнее. Как-то услышал, что если в сорок лет ума нет, то его и не будет. А мне как раз тридцать девять стукнуло. Купил в магазине книжку, в которой многие непонятные слова объяснялись, и проштудировал ее двенадцать раз — по разу в месяц. Теперь любую газету запросто читаю, хоть учительскую, хоть экономическую. Как говорится, EX ABRUPTO. (Я позже посмотрел в справочнике, оказалось, что крылатую латинскую фразу мой собеседник употребил почти к месту. «EX ABRUPTO» обозначало «внезапно, без подготовки».)

В общем, скучно с ним не было.

Вот хотя бы один из наших разговоров.

Зима. На улице морозно и метет. На рыбалку бы выбраться, да кто ж в такую погоду поедет. Весь день занимался уборкой квартиры. Вечером посмотрел новости и выключил телевизор, чтобы не слышать убогие шутки юмористов, до смерти надоели эти «кривые зеркала». Холодно, ветрено, и Кузьмич давно не звонил. Только подумал, а он тут как тут.

— Але! Приветик!

— Привет, привет. Как жизнь? Что нового?

— У Аннушки вчера был. Она тоже спрашивает, что нового, как живешь? А я отвечаю, живу, как инфант, три раза в день питаюсь. Она сквородку трески нажарила, когда-то самая бросовая рыба была, а теперь деликатес. Такая у нас симптоматика времени. Предлагает: поешь с нами. Сели за стол, и разговор что ни на есть застольный, почти светский, только салфеток вокруг шеи не хватает. Аннушка говорит: я в молодости дурой была. Все искала человека, которому была бы интересна — замуж очень хотелось. А надо было искать того, кто был бы мне интересен, кто бы с меня пылинки сдувал. Ты и сейчас дура, говорю. Как только у тебя эти мысли появились, так муж и ушел. Меняй концепцию, иначе придется оставшуюся жизнь одной куковать. А и покукую, говорит, сама себе хозяйкой. Это ты сейчас такая храбрая, хоть на орден мужества представляй, а когда личико вниз стечет, волосы потускнеют, другое думать будешь. Смеется: сегодня, говорит, шампунь хорошие есть, в любой цвет окраситься можно. Ну не дура ли? А как же семья — ячейка общества? Кто будет работать, кто границы стеречь? Слышал по «Вестям», в Китае весь народ поголовно русский язык изучает, все китайцы в Россию ехать хотят. А потом мы начнем учить китайский. С такими настроениями наших женщин другого хода у истории нет. Кончат они страну, как пить дать кончат. До чего же легкомысленные особы!

— Это еще древние римляне понимали, — говорю я. — У них было такое выражение: «Что легковесней пера? Пыль! А легче пыли? Ветер! А легче ветра? Женщина! А легче женщины? Ничто!»

— Надо бы Конституцию переписать, — деловито говорит Кузьмич.

— Не поможет. Потому что мужики, когда проходит молодость, становятся ленивы и любят пофилософствовать, а женщины в любом возрасте эгоистичны, вероломны, сметливы и действуют не особо раздумывая. Вот и берут они верх.

— Плохо, — говорит Кузьмич.

— А что делать? Такова логика событий. Мы почти всегда зависим от их прихотей. В любом случившемся катаклизме ищите женщину. Если не Елену, то какую-нибудь Лизистрату. Им, пожалуй, только землетрясения неподвластны.

— Но-но, — говорит Кузьмич. — Что за глупости! Что за настроение! Мужик по номиналу тоже чего-то стоит. Тебя, наверное, женщина обидела, а мы еще повоюем.

Он почему-то смеется и резко меняет тему разговора.

— Ты чем сейчас занимаешься?

— Телевизор выключил, собрался книжку почитать.

— Вот это правильно. По телику смотреть нечего. Политика — сплошной картуш, остальное — менты да реклама. А книга — это надежно. Нас еще в школе учили: «Любите книгу — источник знаний!» Кого читаешь?

— Дона-Аминадо.

— Испанец?

— Наш. Эмигрант первой волны, он еще в двадцатом уехал из России в Париж. Там и умер. Дон-Аминадо — псевдоним. Имя у него необычное было — Аминадав.

— Вепс, что ли?

— Кто его знает. Может, и вепс. Редкие имена у всех наций встречаются. У меня был знакомый, его Филей звали, а по паспорту — Флегонт.

— Что этот Аминадав пишет?

— Разное. Стихи, афоризмы.

— Афоризмы? Афоризмы я люблю, в них суспензия мысли.

— Может, субстанция?

— И субстанция тоже.

Я листаю страницы.

— Вот интересный поворот: «Когда прошлое становится легендой, настоящее становится чепухой». И вот это высказывание тоже остроумное: «Грамотные люди могут жениться по объявлению, безграмотные — только по любви».

Мой собеседник хмыкает.

— Ловок твой вепс! Я тоже на днях афоризм сочинил.

— Какой же?

— Возраст — как запах махорки, его не скроешь. Это я Аннушке сказал, чтобы хоть немного о жизни задумалась. Вот такие дела.

— Как там Серега? — подбрасываю я новую тему.

Но Кузьмич, похоже, уже устал.

— Что Серега? — говорит он. — Серегу теперь за уши из Интернета не вытащить. Тетрадь завел в девяносто шесть листов. Латентно строит в нее целыми вечерами... — Он вздохнул. — Ладно, заболтался я. Ты вот что, ты свои глупые мысли о женщинах брось. Не доведут такие мысли до добра. Женщины они женщины и есть, бабы, одним словом. Ты о другом помни: вот такие душевные разговоры, как, к примеру, у нас с тобой, и есть самое главное. Ну, бывай.

Он повесил трубку. Я сварил кофе, покурил, потом достал блокнот и записал:

«Афоризм от Кузьмича: «Общение — это пока что самое большое достижение человечества».

Потом он опять пропал надолго, а вчера ода-рил очередной нетленной истиной.

Объявился, как всегда, поздним вечером.

— Давно, — говорю, — вы не звонили. В прошлый раз был конец февраля, а нынче уж весна на дворе. Все Аннушку воспитываете?

— Ее воспитывать поздно. Закоснела в ортодоксальности. Изображает ягодку опять, а ягодка-то мягкая и без сладости. Жизнь сама устроит ей прочистку мозгов — кливаж по-научному, так что бог с ней, с Аннушкой. Нет, другим был занят. Библию читал. Вот книга! Квинтэссенция мысли и антология заблуждений.

— Интересно, — сказал я только для того, чтобы что-нибудь сказать — к разговору о Библии я был не готов.

— Конечно, интересно, — эхом откликнулся Кузьмич. — И вот что я тебе скажу — сейчас модно ссылаться на Библию, но саму-то Библию мало кто читал. Очень тяжелая книга, а для человека трагичная. Бог — он ведь не добрый. Чуть что не так, не по нраву — тотчас репрессии. Он только поклонение принимает.

Не демократ, далеко не демократ. Самодур типа Пол Пота.

— Называть Бога самодуром, — я рассмеялся, — такого еще не слышал.

— Зря смеешься, — обиделся Кузьмич. — Я разобраться хочу. Ведь почему взялся за это дело? Услышал, как по телевизору один деятель сказал, что на земле-де только тогда наступит мир и благоденствие, когда люди будут свято выполнять десять библейских заповедей. Что это за истины такие, думаю. Взял у соседа Библию — ему какие-то сектанты еще в прошлом году принесли, и стал вникать. Написана книга, прямо скажу, трудно, но смысл понять можно. Ты сам-то Библию в руках держал?

— Держал, но до конца не прочитал. Отвлекло что-то.

— Так я тебе напомним. Там момент обретения десяти божественных заветов описан ярко. Гора Синай вся в огне, дым клубами, земля дрожит, думаю, случилось извержение вулкана. И вот в блеске молний и грохоте стихии раздается голос Божий, произносящий заповеди. Потом он для верности сам же начертал их на двух каменных скрижалях, которые передал Моисею. Сорок дней пробыл на горе Моисей, а потом с этими каменными досками спустился к народу, сынам Израиля. И что же он видит? Народ весело отплясывает вокруг Золотого тельца. Вообще-то, Моисей, как я понял, был сдержанный мужчина, в Библии сказано — кроткий, но тут он прямо-таки рассвирепел. Устроил сцену с криком, топаньем ногами и в гневе расколотил о скалу священные скрижали. Народ от страха раскаялся, и он их восстановил.

— То есть нам известен не оригинал, не Божье творение, а новодел?

— Да. Но там сказано, что каменные доски Моисей восстанавливал под присмотром Бога и по его указанию. И вот что на них было написано. Сейчас достану тетрадку. Слушаешь?

— Да-да.

— *«Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства; да не будет у тебя других богов пред лицом Моим».* Это первая заповедь. Потом о кумирах, которым нельзя поклоняться и служить. Шаг влево, шаг вправо считается побегом.

— Не понял.

— Ну, сказано другими словами, но предупреждение вполне реальное: «Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои».

— Ясно. Что дальше?

— Не произноси имени Бога напрасно.

— Это известная заповедь. Только обычно говорят не «напрасно», а «всуе».

— Дальше о субботе. *«Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай в них всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни вол твой, ни осёл твой, ни всякий скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих; ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и всё, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его».*

— Это евреи не работают в субботу, христиане почитают воскресенье — в память о воскресении Иисуса Христа. Сегодня с точки зрения обычного человека это не принципиально, потому что и суббота и воскресенье — выходные дни.

— Как просто, — поразился Кузьмич. — А я-то думал, почему воскресенье называется воскресеньем.

— А дальше?

— Дальше как раз все понятно.

Почитай родителей.

Не убивай.

Не прелюбодействуй.

Не кради.

Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.

Не пожелай дома и имущества

ближнего своего и не возжелай жены его.

Вот такие заповеди. Это высший закон для христиан, — назидательно сказал Кузьмич.

— А как быть людям невоцерковленным или верящим в Бога, но как-то не твердо, тем, кто

думает, что высшие силы все-таки есть, однако не молятся, потому что не знают молитв и в церковь не ходят — не видят в том необходимости. Таких сейчас большинство — коммунистическое прошлое не прошло бесследно.

— Надо подумать, — сказал Кузьмич. — Этим людям я бы для начала предложил руководствоваться простым правилом: не делай другим то, что не хочешь, чтобы сделали тебе. Вроде и незамысловато, да? Но если бы так было, то общество сразу стало здоровее.

Мы еще немного поболтали о погоде и ранней весне, после чего Кузьмич, твердо пообещав заняться «кодификацией духовных и нравственных законов», повесил трубку, а я взялся за отложенную книгу. Читал стихи из сборника «Ковчег», но мысли были далеко от рифмованных строк. А ведь Кузьмич прав, думал я. Мне случалось нарушать это незамысловатое, можно даже сказать, банальное правило, о котором слышал и раньше. И каждый раз те же самые поступки, но уже совершенные другими, как отбойная волна, настигали меня. Чаше всего они были умножены многократно и, случалось, накрывали с головой. Выплывать приходилось с потерями и горькими обидами. А ведь какое простое правило, думал я, очень простое правило и как просто его придерживаться! А все, что сегодня у меня есть хорошего и доброго, это тоже пришло от людей, которых я любил и которые любили меня.

Глаза, до этого автоматически скользившие по строкам, внезапно остановились на четверостишье:

*Вечером, сквозь усталость
Дымчатую, как кружево,
Все, что в душе осталось,
Памятливо выуживаю...*

И это правда, подумал я.



СЕКРЕТ

ДОЛГОЛЕТИЯ

В начале обозначу время: начало восьмидесятых прошлого столетия. А вот и первый герой — Миша.

У Миши лицо палача. В профиль оно похоже на топор: высокий покатый лоб, вислый нос, тонкий выдвинутый вперед подбородок.

Внешность обманчива — Миша добрейшей души человек.

Вот только курит он дрянь под названием «Прима».

Не за эту ли «Приму» Мишу под смехотворным, но благовидным предложением выгнали с прежней работы? Раньше он возил районное начальство, а чиновники любого ранга не любят, когда рядом пахнет простонародьем. Теперь Миша крутит баранку белого фургона с красной революционной надписью «Продукты» — он обслуживает сельские магазины.

Говорит:

— Работа непыльная.

Утверждение метафорическое — дороги в Заонежье по большей части неухоженные, белый фургон даже после дождя смотрится непрезентабельно. На фоне грязи революционный призыв — как насмешка.

За окном машины поля сменяются мелкоколесьем. Поля пусты, мелкоколесье уныло.

Слева заголубело озеро. На покато́м берегу единственный дом.

— Тунад-Река, — говорит Миша.

Около дома стоит старуха. Она в темном плюшевом жакете, длинной суконной юбке, на ногах то ли галоши, то ли обрезанные сапоги, голова повязана теплым платком. Рядом с ней сидит на земле красавец кот, он серый в дымчатую полоску, в белых чулочках и с белой же шикар­ной манишкой.

— Баба Поля, — говорит Миша.

Он тормозит.

— Подожди пару минут.

Миша выходит из машины, открывает дверь фургона. Я тоже спрыгиваю

на дорогу, достаю пачку «Опала» и с удовольствием закуриваю.

Миша достает из фургона бумажный пакет.

— Пойдем познакомлю, — говорит он.

Мы идем к старухе.

— Привет, бабуля, — говорит Миша. — Как жизнь? Не скучаешь?

— Некогда мне скучать, — говорит старуха. — Ты кого привез?

— Попутчика, баба Поля, просто попутчика. Подхватил на окраине Медгоры.

— Фотографировать не будет? — строго спрашивает старуха.

— Не будет. У него и фотоаппарата нет.

— Это хорошо, — говорит старуха. — А то я сёдни плохо выгляжу. Всю ночь ворочалась — финны снились. Вот вышла посмотреть, не вернулись ли?

— Они не вернутся, — говорит Миша. — У них теперь своя жизнь, у нас — своя.

— Жалко, — говорит старуха. — Душевные люди.

— Я тут кое-какие продукты привез, — говорит Миша. — Побалуешь себя.

— Спаси тебя Бог, — говорит старуха. — Зане-си в дом, я потом разберусь.

Мы едем дальше.

За окном снова пустые поля и унылые перелески.

— Это твоя бабушка? — спрашиваю я.

— Кто? Баба Поля? — Миша смеется. — Я даже фамилии ее не знаю. Баба Поля да баба Поля — все так зовут. Наш долгожитель. Примечательная старуха. Видишь, еще сама себя обихаживает.

Какое-то время мы едем молча.

— Докатились, — говорит Миша. — Финских оккупантов ждут как дорогих гостей.

Мне нечего сказать.

Это неправильно, дело пассажира веселить шофера — своеобразная плата за проезд.

— У меня есть знакомый художник, — говорю я. — Он лет двадцать назад пешком прошел по этой дороге. У Сигово написал этюд, на нем косая изгородь из жердей, крестьянский дом, а около дома мужик рубит дрова. В прошлом году купил себе машину и решил прокатиться по старым местам. Погрузил холсты, этюдник и все такое. Доехал до Сигово, видит — около знакомого дома

мужик дровами занимается. Здравствуйте, говорит мой знакомый, я здесь по молодости отличный этюд написал. Знаю, отвечает мужик, вы у того камня стояли за трехногим ящиком.

— Это дядя Коля, — говорит Миша. — Я у него однажды ночевал. Под рыбник бутылку выпили. Он из бывших партизан, как выпьет — все разговоры только о войне.

В Шунье Миша остается разгружаться, а я иду искать попутку на Толвую.

В Толве живу два дня и все это время собираю материал для очерка. Но вот блокнот забит под завязку, можно возвращаться домой. Захожу в сельский магазин и прошу две буханки черного хлеба.

— Не дам, — говорит продавщица. — Вчера мало завезли — своим не хватит.

— У вас покупатели делятся на своих и чужих? — вежливо спрашиваю я.

— Вы уедете, а мне с этими людьми жить, — объясняет продавщица.

— А что можете продать без ущерба для репутации? — спрашиваю я.

— Водку могу, — тихо говорит продавщица.

Кроме нас в магазине никого нет.

— Водка мне не нужна, — так же вполголоса, но доверительно сообщаю я.

— Напрасно, — говорит продавщица. — К вечеру не будет.

Я покупаю пакет пряников «Весенних», коробку вермишели, упаковку яиц, большую пачку чая номер 36 и пару банок сайры в масле.

— А свежая рыба есть?

— Свежей нет. Только хек свежемороженный.

Под боком Онего, но нигде на его берегах мне еще не удавалось купить свежей рыбы, везде только привозная.

Я беру несколько рыбин, они как деревянные, по вкусу, вероятно, тоже деревянные, и прошу взвесить полкило шоколадных конфет «Каракум».

Шоколадные конфеты здесь товар неходовой, и продавщица в знак благодарности подает мне буханку черного хлеба.

— Только спрячьте, чтобы никто не видел, — говорит она.

Я заверяю, что даже под пыткой не назову ее имя, которого, впрочем, не знаю, — так что продавщица ничем не рискует.

Со спортивной сумкой, в которую сложены продукты, я сажусь на рейсовый автобус и беру билет до Медгоры.

Все автобусы на местных линиях похожи друг на друга. Они небольшие, холодные, дребезжащие. На одно лицо и пассажиры — толстые тетеньки неопределенного возраста.

За окном опять тянутся поля. Сколько же труда было положено, чтобы распахать эту скупую на улыбку и урожай землю! Теперь все брошено, все стало ненужным. Только многочисленные груды камней, сложенные в рост человека — их называют ровницы — стоят памятниками пропавшему втуне труду.

Около Тунад-Реки я прошу водителя притормозить.

— Вам же до Медгоры, — говорит он.

— Остановка в пути, — отвечаю я.

— Понятно.

На полу автобуса под приборной доской лежит обтерханный школьный портфель. Водитель достает из него румяное яблоко.

— Передайте привет, — говорит он.

Я иду к дому, который на вид кажется нежилым — потемневшие стены, провалившаяся местами крыша, замызганные окна, у крыльца не хватает нижней ступеньки.

В сених к стене прибит большой чемодан довоенной постройки с потускневшими металлическими уголками и обтянутой кожей ручкой. Здесь же на кое-как оструганном деревянном гвозде — в Заонежье их называют «стопками» — висит зеленый плащ химзащиты.

В избе полумрак. Печь, стол, лавки, икона в красном углу — все как везде, но чего-то не хватает. Лампочки, свисающей с потолка, — вот чего! В доме нет электричества. Но зато есть некое чудо: в простенке между окнами я вижу этажерку из нитяных катушек и четырех фанерок, которые когда-то были крышками и донцами посылочных ящиков. Сколько же лет собирались эти катушки! Еще один обелиск крестьянскому долготерпению.

Баба Поля сидит у окна.

Я здороваюсь и выкладываю на стол продукты.

— Ишь ты, сколько, — говорит баба Поля и добавляет, — теперь-то мы не хуже председателя райисполкома заживем.

Подаю ей яблоко.

— Водитель автобуса просил передать.

— Самовар в светелке, — говорит баба Поля.

— Только ты сам его поставь. Что-то у меня ныне настроение задумчивое — ничего делать не хочется.

Самовар обычный, никелированный, из современных.

— У меня раньше был кругленький, маленький, с медалями, такой ловкой. Жуликоватый москвич выманил, а на отдачу вот этот прислал, — говорит баба Поля. — Тушилка с углями в сених, там и труба, и коробка с шишками.

Самовар я ставлю на улице. Потом — жаркий и шумящий — приношу в избу, достаю с полки маленький чайничек, пока набирает крепость и аромат чай, прямо в самоваре варю несколько яиц, открываю консервы, режу хлеб.

— Прям хозяйка у меня в доме появилась, — смеется баба Поля.

— Сколько же вам лет? — спрашиваю я за чаем.

— А сам посчитай, — говорит баба Поля. — Когда была круглой девушкой, в тот год с германцем воевали. Тогда же замуж выскочила, хоть и засиделась маненько в девках. С мужиком своим намоловаться не успела, его на войну взяли и на войне убили. Потом на хозяйина работала, потом на другого хозяйина, потом в колхозе, потом на лесопункте, а потом финны пришли, и я уже нигде не работала.

Я соображаю: значит, когда началась Первая мировая война, бабе Поле было двадцать пять...

— Не морщи лоб, — говорит она. — Девяносто четыре года мне, милый, девяносто четыре, зажила, осенью стукнет девяносто пять, аккурат посередине сентября, четырнадцатого числа.

Из сеней слышится деликатное царапанье.

Баба Поля встает, открывает дверь. На пороге появляется красавец кот. Он не то чтобы большой — огромный.

— Явился — не запылится, — говорит баба Поля. — Где шлында, шлында?

Кот по дуге обходит меня, запрыгивает на лавку, осматривает все, что выставлено на стол, и тотчас начинает нервно умываться. Особенно тщательно он трет лапой за ушами.

— Зря стараешься, — говорит баба Поля. — Гость уже в доме.

Она в миске замачивает одного из привезенных хеков.

— Молодой еще — четвертый год пошел, а по ночам храпит, как взрослый мужик. Вишь — зверюга. А когда принесли, с ладошку был. Барсиком назвала. Мы с ним дружно живем. Вечером сядем на лавочку, я ему про жизнь рассказываю, а он слушает, будто что понимает.

Она достает из миски размякшую рыбину и бросает ее к печке.

— Ешь, паразит.

Кот спрыгивает с лавки.

— Другой скотины у меня нет — только кот, — говорит баба Поля.

— А раньше держали?

— Зачем? — равнодушно говорит баба Поля. — Корова ни к чему — молоко девать некуда. Коз не люблю, они вредные. Поросятка как-то завела, а тут война, не та, на которой мужа убили, а другая. Начальство — в эвакуацию, народ остался. Я со своим поросенком тоже осталась. Куда мне от хозяйства бежать? Финны в дом заглянули, хлеба дали и дальше поехали. Зато зимой прислали на постой сразу десять человек: восемь солдат, повара и офицера. Партизан они стали опасаться, вот и следили за дорогой и озером. Я как-то офицеру говорю: непорядок у вас. Он — что такое? что случилось? Случилось, говорю, ваши солдаты в снег уже не только кашу — макароны выворачивают. Он тотчас дал распоряжение, и объедки с того дня мне приносили. Я для поросенка четыре бочки еды наморозила.

Кот доел рыбину и еще пуще прежнего продолжил свое умывание.

— Ишь ты, — говорит баба Поля. — Культура замучила.

После чаепития я помогаю бабе Поле прибраться на столе. Чемодан в сених оказался ее холодильником, хлеб, пряники, конфеты убираются в сундук — это кладовая.

— А то мыши попортят, — говорит она. — Барсик их ловит-ловит, все равно откуда-то берутся.

В сундуке же хранятся пакеты с мукой и крупами.

— Когда автолавка останавливается, я всегда что-нибудь беру — поддерживаю торговлю, — говорит баба Поля.

— Велика ли пенсия? — спрашиваю я.

— Пенсию мне сюда привозят, — с гордостью говорит баба Поля. — Все тридцать девять рублей до копеечки.

Баба Поля отправляется в светелку «чуток отдохнуть», кот забирается на печку, и вскоре оттуда раздается мощный боцманский храп, я предоставлен сам себе. Нашел в сарае поржавевший топор, из стен надергал гнутых гвоздей и отремонтировал ступеньку крыльца. Тут и время отъезда подошло. До Медгоры добрался на попутном самосвале. Откуда он ехал, шофер не сказал, а я не спросил.

На следующий день звоню из Петрозаводска в медвежьегорскую службу социального обеспечения. Бойкие девочки-секретарши меня не интересуют, я требую руководство. У руководства приятный низкий голос крашеной блондинки. Я представляюсь. После слов «республиканская газета» голос собеседницы становится более приветливым. Блондинка сообщает, что ее зовут Алевтина Дмитриевна и она всегда сотрудничает с прессой.

— С удовольствием, — говорит она, словно ее на балет приглашают.

Я воочию вижу эту располневшую блондинку лет сорока, которая волею случая стала начальницей. И по тому, как было сказано «внимательнейшим образом слушаю вас», понял, что ей очень хочется если не быть, то, по крайней мере, казаться «хорошей девочкой».

— Вам известна баба Поля из Тунад-Реки? — спрашиваю я и тут же понимаю, что не знаю, какая у бабы Поли фамилия.

— Конечно, — говорит блондинка. Она не замечает моей промашки. — Баба Поля — наша гордость. Она самый пожилой житель района, и мы как можем...

Я не хочу выслушивать всю эту ерунду о счастливой обеспеченной старости и в лоб спрашиваю:

— А вы в курсе, какая пенсия у «гордости района»?

Блондинка какое-то время молчит, ей неприятна моя бестактность.

— Мне нужно уточнить, — говорит она.

— Уточните. Хочу лишь напомнить, что с той поры прошло две денежных реформы — сорок седьмого и шестьдесят первого годов. Ваша служба их, вероятно, не заметила.

Руководству уже тягостен разговор, но в то же время — пресса, стоит ли обострять отношения?

Алевтина Дмитриевна говорит, что все поняла, и не только поняла, но и приняла близко к сердцу, что она обязательно вникнет, войдет в положение и сделает все возможное и даже невозможное. Я со своей стороны обещаю держать ситуацию на контроле.

На этом мы расстаемся.

Потом наступают обычные газетные будни.

В середине сентября я захожу к редактору и прошу двухдневный отпуск за свой счет. Рассказываю о бабе Поле.

— Вали, — говорит редактор.

Я купил в подарок теплые рукавички и отправился на праздник жизни.

До Тунад-Реки добираться на рейсовом автобусе.

День пасмурный, по-осеннему промозглый. Где обещанное бабье лето? Опять синоптики обманули.

Бабы Поли не видно. Около дома два мужика пилят дрова. Это не деревья из леса, а собранный по берегу плавник.

— Привет, — говорю я. — Давайте знакомиться.

Называю себя

— Коля, — говорит мужик, тот, что в синей лыжной шапочке.

— Микола, — говорит другой. У него на голове ворсистая кепка-«лондонка» с надломанным козырьком и задорным хвостиком на макушке. Я таких кепок уже лет двадцать не видел.

— Хохол? — спрашиваю я.

— Русский из-под Великого Устюга.

— А почему Микола?

— Потому что Коля.

Резонно.

— Сидит Микола, обедает, — говорю я. — Забегает сосед, кричит: — Микола! У тебе жинка вмерла! Микола молча продолжает обедать. Сосед: — Микола, ты шо такой спокойный?! — Погодь, зараз доем, побачишь, яка истерика у мене будет!

Мужики смеются.

— Включайся в трудовой процесс, — говорит Коля. — Сложим поленницу и будем водку пить.

Похоже, он в этой паре главный.

На крыльцо вышла баба Поля. Увидела меня, улыбнулась.

— Печь растопилась, — говорит она. — Сейчас рыбы нажарю и позову за стол.

Мы носим выброшенный на берег лес, это напоминание о прежних сплавах, стволы выбираем посуше и потоньше, пилим их, колем крепенькие, как подосиновики, чурбаки. Пила тупая, топор плохо сидит на топорище.

Коля матерится.

— На будущей неделе привезу бензопилу и толковый колун, — говорит он.

Поленница уже по грудь.

— Может, хватит, — говорит Микола, — аппетит нагуляли.

— Пожалуй, — соглашается Коля.

Мы моем руки в бочке с дождевой водой, идем в избу. Там уже все готово к застолью. В большой миске толстыми кусками лежит жареная рыба, ничего себе: похоже, это лосось, в другой миске светится отварная картошка, тут же хлеб, сало, несколько луковиц и головок чеснока.

Я достаю из сумки консервы.

— Это ты брось, — говорит Коля. — Не позорь рыбацкий стол.

Он берет бутылку.

— Баба Поля, ты будешь?

— Что спрашиваешь? Чей день рождения — мой или твой?

Коля разливает водку по стопкам толстого граненого стекла, свою поднимает торжественно, как тамада на грузинской свадьбе.

— Хэппи бёздей ту ю!

— Ой, Колька, слова от тебя без мата не дожدهшься, — с укоризной говорит баба Поля. — Зачем за столом-то?

— Это я поздравил на американский манер, а по-русски скажу: живи, баба Поля, себе в удовольствие, а нам на радость.

— Теперь-то что не жить, — говорит баба Поля. — Мне и пенсию прибавили.

— На сколько? — спрашиваю я.

— На семь рублей.

Вот чертова кукла эта белобрысая — прониклась, называется... А начни копать, все окажется по закону. Чтоб они сами по тем законам жили!

От второй стопки баба Поля отказывается.

Мы снова выпиваем за ее здоровье.

— Баба Поля, а ты в жизни чем-нибудь болела? — спрашивает Микола.

— А как же. Вот лет шесть назад стала печь белить и упала с табуретки. Руку сломала. Левую. Пришлось в город ехать. Мне там кривую железку к руке привязали, с этой дурацкой железкой пол-лета проходила.

— Это травма. А так, чтобы была настоящая болезнь — грипп там или понос.

— Еще триппер скажи, — ввязывается в медицинский разговор Коля.

— Нет, — говорит баба Поля. — Этими болезнями я не болела.

— Любит тебя Бог! — завистливо говорит Микола.

— Любит, — соглашается баба Поля. — У меня и зубы есть. Я их в сундуке держу, одеваю по праздникам.

— Сегодня-то почему без зубов?

— А как бы я жевала? — удивляется баба Поля.

— Тоже верно, — соглашается Микола. — Давай, Коля, махнем по третьей и перекурим это дело.

Курим мы на улице.

— Чем по жизни занимаешься? — спрашиваю я Колю.

Он долго-долго молчит и наконец роняет жемчужное слово:

— Браконьерствую.

— Как так?

— А вот так. Натурально.

— Что же рыбнадзор?

— Рыбнадзор мне пофиг. Здесь неподалеку хорошая речка есть. Инспекторы с весны меня на ней ловят, а поймать не могут. Неловленный я. У них обязанность, у меня кураж. Они днем работают, я ночью промышляю.

— Сетками?

— Когда как, — уклончиво говорит Коля. — Случается и острогой на перекате.

— Ночью острогой?

— А что? Я на всплеск бью. Речка неширокая.

— И попадаешь?

— Раньше редко попадал, теперь редко промахиваюсь. Острога у меня — во!

Он показывает, какая у него острога. По ширине она, похоже, больше совковой лопаты.

— А зимой?

— Зимой я в бригаде. Телятники да коровники строю, дома-бани ремонтирую. Работа всегда есть.

— А ты, Микола, чем на хлеб зарабатываешь? — спрашиваю я.

— Всем помаленьку, — уклончиво говорит Микола. Ему не хочется откровенничать с малознакомым человеком.

Мы возвращаемся в избу и снова садимся выпивать.

— На Пудожском берегу один парнишка рассказывал, как ловит форель, — говорю я. — Он перед порогом ставит сеть, а за порогом — еще одну, но она над водой. Понимаете? Как батут. Только этот батут натянут со слабиной. Форель — рыба осторожная, она видит преграду, перепрыгивает через нее и попадает, а наш хитрец плавает взад-вперед на резиновой лодке и собирает улов.

— Ерунда, — говорит Коля. — Рыба должна зацепиться за сеть жабрами, иначе уйдет. Наврал тебе паренек. Это дело не так делается.

— А как?

— Приезжай летом — покажу.

Но вот водка выпита. В избе уже темно. Баба Поля зажигает керосиновую лампу, и мы решаем перекинуться в подкидного дурака. Микола все время проигрывает. Он злится.

— Вы сговорились.

— Когда? — удивляется Коля.

— Сговорились, сговорились. И вообще пора ложиться, утром хочу пораньше встать.

— Зачем? — спрашивает Коля.

— На рыбалку.

— Завтра рыбалки не будет. При северном ветре рыба не клюет. Пока мы играли, ветер сменился.

— А ты почему знаешь?

— У волны накат другой.

— Пойду перекурю, — говорю я.

Выхожу на улицу, но не закуриваю, а иду на берег. Я помню, когда мы носили бревна, ветер дул слева. Волн в темноте не видно, вообще ничего не видно, но ветер холодит правую щеку.

Непостижимо, думаю я, у Коли слух, точно у полярной совы, которая слышит, как под метровым слоем снега шебуршатся полевки.

После перекура я возвращаюсь в избу. Баба Поля уже ушла в светелку, друзья укладываются спать: Коля — на лавке, Микола — на полу. Я тоже ложусь на полу, лавка мне кажется слишком узкой, подушкой служит спортивная сумка, а матрацем — женское зимнее пальто, вечнозеленое, как кипарис. Громче всех храпит ночью кот Барсик на печи.

Утром в избе прохладно.

Мы умываемся все из той же бочки с дождевой водой.

Долго и молча пьем чай.

Потом друзья уходят на большак: Коле нужно попасть в Великую Ниву, там у него какие-то дела, Микола решил прокатиться с другом за компанию.

Барсик еще дрыхнет, после вчерашнего ужина ему до сих пор хорошо.

Баба Поля примерила мой подарок и сидит за столом в рукавицах.

— Хочешь выпить? — спрашивает она. — У меня есть чекушка. На троих — только губы омочить, а на одного — в самый раз.

— Спасибо, — говорю я и наливаю еще кружку чая.

— Пожалуйста, — говорит баба Поля. Она любит рукавичками. — Красивые.

Я решил не дожидаться рейсового автобуса. Говорю:

— Пойду на дорогу, поймаю попутку до Медгоры.

— Приезжай еще, — говорит баба Поля. — Можешь жить у меня, сколько захочешь.

Одеваюсь, перебрасываю сумку через плечо.

— Баба Поля, все хотел спросить: в чем секрет долголетия?

Мой вопрос застаёт бабу Полю врасплох.

Ей хочется сказать что-то весомое, важное.

Шевелит губами, словно молитву шепчет.

Наконец говорит:

— Нужно быть доброжелательным.

Последнее слово она произносит как бы делая надвое: д о б р о - ж е л а т е л ь н ы м .

— Понимаешь? — говорит баба Поля.



Валерий Николаевич ВЕРХОГЛЯДОВ

родился в 1946 году в городе Пудожье.

Окончил историко-филологический факультет

Петрозаводского государственного университета.

Работал в редакциях газет «Комсомолец», «Ленинская правда»,

«Петрозаводск», «Карелия», «Город».

Заслуженный журналист Республики Карелия.

Автор многочисленных очерков

и ряда книг по истории Петрозаводска.

Член Союза писателей России с 2000 года.

Живет и работает в Петрозаводске.

